

Мария Майофис

ЧЕМУ СПОСОБСТВОВАЛ ПОЖАР?
«Антикризисная» российская публицистика
1837—1838 годов как предмет истории эмоций¹

Пожар, почти полностью уничтоживший в декабре 1837 года Зимний дворец в Петербурге, стал одним из важнейших *общественных событий* России 1830-х годов. Однако реакция политических и культурных элит на это происшествие во многом оказалась скрыта от тогдашних «внешних» наблюдателей — и, соответственно, от позднейших исследователей. Пожар много раз описывали современники (см.: СП 1837; СП 1838; Вяземский 1838; Жуковский 1885; Колокольников 1883 и др.), сочинения о пожаре подробно анализировали позднее историки (см. прежде всего: Глинка 1959; Кузовкина 2002, а также Мильчина 2004; Мильчина и Осповат 1996; Минин 1995), однако, по-видимому, до сих пор не вполне осмыслен масштаб культурно-психологических последствий этой катастрофы. Их реконструкция позволяет по-новому увидеть картину идеологических поисков, которые лихорадочно и даже, пожалуй, панически вели российские элиты во второй половине 1830-х.

Основанием для обращения к этой теме для меня стала найденная весной 2009 года в архиве С.С. Уварова его ранее не публиковавшаяся французская статья, посвященная пожару (см.: Уваров 1837)². Сравнение ее с уже известными сочинениями Жуковского и Вяземского позволяет сделать вывод о том, что в рамках «нарратива о пожаре» формировался особый тип риторики, который впоследствии был поставлен на службу не только имперской, но и советской и даже постсоветской государственной машины. Предпринятый здесь *case study* — попытка с другой точки зрения интерпретировать ту же проблематику, что и публикуемое в этом номере «НЛО» исследование К.А. Богданова.

Однако обсуждение специфики новообнаруженного сочинения — лишь один из боковых сюжетов моей статьи. Центральный же заключается в попытке понять, что именно заставило двух известных литераторов и одного высокопоставленного чиновника (с ярким литературным прошлым!) одновременно и спешно взяться за перо, обращаясь к просвещенному российскому читателю (Жуковский) или к иностранному общественному мнению (Вяземский и Уваров); почему у всех этих текстов обнаруживается столь много идейных, тематических и даже стилистических пересечений и почему Николай I остановил публикацию статьи Жуковского и, скорее всего, Уварова.

Моя гипотеза заключается в том, что попытки публичной интерпретации именно этого события выявили глубокий кризис символических порядков и оформляющих их идеологических конструкций, затронувший политические и культурные элиты России. Авторы боялись не только того, что пожар дискредитирует правление Николая I, — под угрозой, как им казалось, находил-

1 Благодарю М.Е. Габовича, А.Л. Зорина, В.А. Мильчину, А.И. Рейтблата, Т.И. Смолярову и В.М. Файбисовича за ценные консультации, данные на разных этапах подготовки этой статьи к печати.

2 Полную публикацию русского перевода этой статьи см. в интернет-версии номера.

 Чему способствовал пожар?

ся созданный Николаем «династический сценарий» российской власти (термин Р. Уортмана) и даже репутация российской монархии как таковой. Для того чтобы предотвратить столь пугавшую их перспективу развития событий, все они избрали — а до некоторой степени и совместными усилиями изобрели — одну и ту же риторическую стратегию: создать образ нации, объединенной всеобщей символической и эмоциональной сопричастностью поданных своему императору *и определяемой через эту сопричастность*. У этой стратегии национальной репрезентации оказалось большое будущее.

1

Пожар начался поздним вечером 17 декабря. За исключением сохранившегося практически неповрежденным Эрмитажа, дворцовый комплекс выгорел полностью. То, что от него осталось, тлело еще двое суток. Следующие две недели армейские и гвардейские полки попеременно дежурили на Дворцовой площади и следили, чтобы разносимые ветром груды пепла не нанесли ущерба окрестным зданиям (Колокольцев 1883: 347–348).

Первой среди российских газет о пожаре написала «Северная пчела», а затем это сообщение, как и все последующие, без изменений перепечатывали «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости» и «Русский инвалид». Таким образом, до апреля 1838 года российская пресса давала не просто непротиворечивую, но абсолютно монологическую версию происшедшего: пожар возник сам собой, от тления за деревянной перегородкой, его тушили с особым тщанием, но невозможно было противостоять разрушительной стихии, усердие пожарных и военных было необыкновенным — они сумели спасти множество драгоценностей и произведений искусства, — а император, императрица и наследник показали при тушении пожара выдающийся пример самообладания и альтруизма.

Статья Уварова явно предназначалась для обнародования за границей — она имеет подзаголовок «Lettre à un journaliste étranger» [«Письмо иностранному журналисту»]. На первом листе рукописи сохранилась пометка, сделанная, по-видимому, рукой сына Уварова, Алексея Сергеевича, со слов отца: «Не было напечатано, так как в одном из французских временных изданий уже появилась о том же статья кн. П.А. Вяземского».

Через десять дней после пожара П.А. Вяземский послал в Париж А.И. Тургеневу текст для напечатания или в «Journal des Débats», или «Revue des Deux Mondes» или — при неблагоприятном исходе — для издания отдельной брошюрой. Тургенев получил статью 14/26 января, а 12 февраля брошюра вышла у книгопродавца Дантю. Затем полный ее текст воспроизвела на своих страницах 18 февраля «Gazette de France», 25 февраля отрывки из нее поместила «Quotidienne», а в апреле ее русский перевод напечатали «Московские ведомости» (Мильчина 2004: 364–366).

Немедленно после пожара была написана еще одна статья, публикация которой в первом томе «Современника» за 1838 год была остановлена по указанию императора, — ее автором был В.А. Жуковский³. Николай I наложил на рукопись резолюцию: «...поелику довольно уже писано в публичных листках о сем несчастном событии» (Жуковский 1885: 626). Это сочинение было впервые напечатано лишь в 1872 году.

3 Об истории работы Жуковского над текстом этой статьи см.: Гузаиров 2007.

Таким образом, две из трех статей бывших «арзамасцев»⁴ предназначались для публикации за границей. Авторы были в большей степени обеспокоены тем, как произошедшее будет трактоваться иностранными журналистами и политиками, нежели тем, как воспримут пожар их соотечественники.

Татьяна Кузовкина детально описала официальный канон изображения пожара 1837 года — как он сложился в сообщениях «Северной пчелы» и статьях Вяземского и Жуковского — и выделила основные сюжетные и символические комплексы этого нарратива. Среди них — отождествление каждым жителем страны Зимнего дворца с родным домом и, как следствие, картина молчаливого сопереживания народа; «сказочная» роль императора, одному слову и взгляду которого подчинялись и войска, и многотысячная толпа; превращение описания борьбы с огнем в «семейную историю» (бесстрашие и хладнокровие императора, сострадательность императрицы, дисциплинированность и расторопность наследника, «утешительные» известия о полном спасении обстановки дворца и личных вещей членов императорской фамилии) (Кузовкина 2002). Эти мотивы многократно, как заклинание, повторялись в российских текстах о пожаре на протяжении десятилетий.

Для европейских читателей пожар Зимнего дворца оказался хотя и экстраординарным, но все же «далеким» событием, которое само по себе вряд ли могло свидетельствовать о слабости российского государства (так, например, французская «La Quotidienne» в январе 1838 года просто давала в переводе официозные сообщения «Северной пчелы»). А вот «внутренние» страх и смятение действительно были велики. Можно предположить, что старания упрочить престиж страны за рубежом были проекцией умонастроений самих авторов: для них пожар Зимнего дворца, как можно судить по текстам, по своему значению был сопоставим с эпидемиями холеры начала 1830-х и декабрьским восстанием 1825 года.

Причина столь глубокого потрясения заключалась в том, что на протяжении нескольких лет в официальной пропаганде и внутри управленческого аппарата годы, следовавшие за польским восстанием и холерными бунтами начала 1830-х, считались временем укрепления государства и умиротворения общества. Эту идею неоднократно формулировали авторы адресованных императору ежегодных отчетов III Отделения. Так, в отчете за 1836 год, с одной стороны, фиксировалась распространенная в определенных кругах оценка текущего царствования как неудачного или обреченного на неудачу, с другой — доказывалось, что развитие страны в течение последних пяти лет опровергает эту оценку и служит переубеждению сторонников подобного мнения (Россия под надзором 2006: 141).

Пожар явным образом нарушал эту идиллическую картину, изначально не предполагавшую никакой серьезной нюансировки. Точнее даже, он нанес сокрушительный удар по тем символическим структурам, которые обеспечивали репрезентацию обретенного благополучия и безмятежного будущего страны, по идеологии, которая стояла за этими символическими структурами, и, наконец, по самому подходу к информационному освеще-

4 Уваров был фактическим инициатором литературного общества «Арзамас», Жуковский — его секретарем (то есть протоколистом), Вяземский, всего дважды за время существования общества приезжавший в Петербург, сыграл важную роль при создании проекта арзамасского журнала. См. об этом: Майофис 2008.

Чему способствовал пожар?

нию современных событий, который усвоила (вольно или невольно) журналистика николаевского времени. Возникли зияющие лакуны — их необходимо было ликвидировать и срочно выработать риторические средства, которые сделали бы эти лакуны незаметными и незначимыми.

«Информационный кризис» был связан прежде всего с принципиальным умолчанием прессы о виновниках пожара, размерах ущерба и количестве жертв. И очевидцы, и позднейшие исследователи указывали в качестве виновных на совершенно конкретных лиц: министра императорского двора князя П.М. Волконского (Колокольцев 1883: 334—335, Дело о толках 1838: Л. 4 об.; Россия под надзором 2006: 157), начальников гофинтендантской конторы и пожарных рот (Глинка 1959: 232), архитектора Огюста Монферрана (Там же: 228—229, со ссылкой на московских корреспондентов Монферрана) и самого Николая I (Там же: 230). Однако ни специально созданная императором комиссия, ни тем более пресса не назвали ни одного имени. Сама комиссия не проработала и десяти дней, после чего прекратила свою деятельность, сообщив императору: «...при всех... усилиях и подробностях изследования... комиссия не может с достоверностью указать решительных причин пожара»⁵.

В самом деле, поиск истинных причин и виновников несчастья мог бы завести слишком далеко. Во-первых, как свидетельствуют материалы комиссии, запах гари чувствовали еще за несколько дней до пожара и солдаты, и офицеры, и служители Зимнего дворца, но никто из их начальства не придал этим наблюдениям серьезного значения⁶. Во-вторых, накануне пожара этого запаха не заметили ни император, ни великий князь Михаил Павлович, ни многочисленные члены их свиты, собравшиеся в залы дворца на военный смотр. В-третьих, при объявлении тревоги вечером 17 декабря во дворец поспешили и министр двора Волконский, и петербургский полицеймейстер Кокоскин: им обоим показали не очищенную от сажи печь в лаборатории придворной аптеки и тлевшую рогожу, извлеченную там же из щели, объявив, что причина задымления и запаха гари ликвидирована — оба чиновника приняли это объяснение и уехали из дворца, при этом Волконский еще распорядился отправить на гауптвахту трех служителей лаборатории⁷ — пожар разразился буквально через два часа после их отъезда. Наконец, состояние печных работ и пожарных рот накануне происшествия было столь скверным, что это невозможно было скрыть ни от комиссии, ни от сторонних наблюдателей⁸. Тушение пожара тоже было организовано не лучшим образом: современники вспоминали о хаосе и даже панике, царившей среди беспорядочно заполонивших дворец солдат (см.: Колокольцев 1883: 340—345), и даже распоряжения императора были весьма спонтанными и некомпетентными⁹.

5 Дело Комиссии 1837: Л. 49 об.

6 См. показания флигель-адъютанта графа Васильчикова (Там же. Л. 10 об.), дворцовых гренадеров (Л. 13 об. — 14) и унтер-офицеров (Л. 14 об. — 15).

7 Там же. Л. 14 об. — 15, 21 об. и др.

8 Дело Комиссии 1837: Л. 58.

9 Отданный Николаем на самом первом этапе тушения приказ разбить окна в Фельдмаршальской зале, дабы избавиться от задымления, противоречил элементарным законам физики: естественно, большой приток свежего воздуха еще больше раздул пламя, залить которое с помощью весьма маломощных пожарных труб было уже невозможно.

Второй информационной проблемой было отсутствие достоверных сведений о точном количестве жертв. Спустя более чем неделю после пожара «Северная пчела», а за ней и прочие газеты сообщили о тринадцати погибших, прозрачно намекая на нежелательность «преувеличенных известий о несчастиях», явно циркулировавших не только в Петербурге, но и в Москве¹⁰. Если же основываться на воспоминаниях очевидцев, счет должен был идти на десятки — в первую очередь, пожарных и солдат, спасавших по приказу императора мебель и художественные ценности¹¹.

Функцию риторической «драпировки» этих умолчаний во всех текстах, посвященных пожару, выполнял образ неукротимой стихии, распростиравшейся по зданию с необыкновенной скоростью и, по определению, имевшей не антропологический или предметный, но исключительно трансцендентный генезис. Вяземский, пусть и в самых общих словах, еще пытался говорить о причинах и виновных («...в этом пожаре, как и во многих других, виновата с одной стороны судьба, с другой свойственная человеку неосмотрительность...» [Вяземский 1838]), но Уваров уже настойчиво подчеркивал: «...Все усилия, все пособия были тщетны» (Уваров 1837).

Для описания такого рода катастрофы как нельзя более уместной оказалась риторика возвышенного. Во всех трех статьях бывших «арзамасцев», равно как и в сообщениях «Северной пчелы», неоднократно появляются замечания о невозможности точного вербального описания как самого пожара, так и произведенного им впечатления. «Зрелище, по сказанию очевидцев, было неопишное: посреди Петербурга вспыхнул вулкан. <...> В этом явлении было что-то невыразимое...» (Жуковский 1885: 32, 33).

Сами описания охваченного огнем дворца сопровождаются ламентациями о том, что автор полагает свой талант недостаточным для того, чтобы изобразить столь величественное зрелище. Вяземский риторически вопрошает:

Кто из нас не пожалел вновь о том, что умолкла уже лира Пушкина? Певец всего славного в России питал особенную любовь к этому прекрасному зданию и, конечно, пролил бы поэтические слезы свои на дымящиеся развалины, если бы буря не унесла его прежде и не разбила его лиры. Это зрелище стоило также и кисти живописца (Вяземский 1838).

Пушкин упомянут тут явно не случайно: картины пожара, которые рисуют Вяземский, Жуковский и Уваров, прямо отсылают к изображению петербургского наводнения в поэме «Медный всадник», опубликованной всего полугодом раньше стараниями все того же Жуковского (Осват, Тименчик 1985: 60–71 и сл.). Поведение Николая I во всех трех сочинениях разительно напоминает изображенного в поэме Александра I, признающего, что со стихией «царям не совладать». Уваров пишет, что Николай, «величественный в своей покорности высшей воле», «оставил победу непобедимой стихии», а Жуковский утверждает, что «и царь, и его Россия с благоговением приняли новое испытание...» (Жуковский 1885: 34). Вяземский же в своей статье практически прямо цитирует Пушкина:

Когда в 1824 году воды Невы росли на улицах Петербурга, из окон этого дворца он [Александр] печально смотрел на успехи грозного нашествия

¹⁰ СП 1837. № 290, 291.

¹¹ См., например, у Д.Г. Колокольцева: «...один из таковых обвалов потолка, в один момент, прикрыл и в мусоре похоронил до 30 человек солдат экипажа-гвардии» (Колокольцев 1883: 343).

Чему способствовал пожар?

вия и проливал слезы не отчаяния, но великодушного умиления. Царь плакал о бессилии власти человеческой над стихиями, и слезы Его текли не бесплодно: елеем утешений и благодеяний разлились оне по жертвам страшного бедствия¹².

Таким образом, во всех трех статьях пожар Зимнего дворца описывается по аналогии с наводнением. Однако аналогия эта «хромает», ведь городской пожар всегда имеет своей причиной человеческий, а наводнение — природный фактор.

Символические лакуны, проявившиеся при интерпретации пожара, были связаны с тем, что такое здание, как Зимний дворец, просто *не имело права* сгореть: поскольку семья монарха и ее частная жизнь в национальной мифологии николаевского царствования имели исключительный статус¹³ и воплощали в себе идею неприкосновенности, этим статусом метонимически наделялась и главная императорская резиденция. Ее разрушение, таким образом, не могло восприниматься иначе, как вызов благополучию царской семьи, а значит, и благополучию нации.

Для того чтобы совершить этот символический и риторический переход от императорской фамилии к миллионам подданных, иными словами — чтобы компенсировать очевидное для всех наблюдателей отсутствие институционального опосредования между монархом и народом (другое дело, что одни могли описывать этот феномен негативно, а другие, как, например, Уваров, позитивно), потребовалось на ходу изобретать яркие и действенные метафоры сопричастности. Жуковский пишет о Зимнем дворце как об общем доме всех россиян («Для всех нас вместе он был то же, что для каждого из нас в особенности дом отеческий...» [Жуковский 1885: 22]), а Уваров идет дальше и предлагает прочитать эту метафору буквально: «Не подумайте, что теперь говорят: “Дворец императора был истреблен огнем”. Нет, говорят: “Мы потеряли наш дворец”, — ибо во всех концах империи каждый считал какую-то его часть своею собственностью» (Уваров 1837).

Вяземский выбирает другой троп — олицетворение — и приближает не «Магомета к горе», но «гору к Магомету». Он говорит о дворце как о *живом свидетеле* важнейших событий русской истории и вместилище «памяти сердца» всего народа:

Здесь, в этих стенах, совершались долгие бдения и думы Царя... Жертвенный пожар Москвы определен был здесь... <...> Народ, богатый памятью сердца, до сих пор набожно хранит воспоминание об этом дне [наводнения 1824 года], ознаменованном тяжким бедствием и такою великою скорбию (Вяземский 1838).

На уровне идеологии лакуны возникли в связи с переживанием пожара как радикального исторического разрыва: завершенный в 1757 году Зим-

12 Находим такую цитату и у Жуковского: «Из окон дворца смотрел он на разрушение, производимое волнами, и горько плакал, порываясь спасать погибающих и чувствуя всю ничтожность своей власти перед бездушным могуществом стихии» (Жуковский 1885: 25).

13 См. замечания Ричарда Уортмана об императорской фамилии как идеале личных и политических отношений (Уортман 2004: 1, 369) и об ассоциировании в официальной пропаганде семейной нравственности с самодержавным правлением (Там же: 437).

ний дворец был не только домом монарха, но и знаком непрерывности российской истории всего петербургского периода: «...теперь, при мысли, что Зимний Дворец не существует, пробуждается в душе что-то похожее на сиротство; и кажется, как будто нас что-то разрознило», — писал Жуковский (Жуковский 1885: 23). Еще радикальнее выразился Вяземский: «Вспоминая о Дворце, мы оплакиваем минувшее: он был живую, народную историей, которой страницы сгорели на глазах наших» (Вяземский 1838). Однако в рамках всей национальной жизни необходимо было наделить это событие позитивной ценностью; мотивы и образный ряд, которые оформляли этот процесс, ярко высвечивают модель воображаемого сообщества (imagined community) (Андерсон 2001: 35–36, 46–59), к которой апеллировали авторы сочинений о пожаре: это сообщество людей, прошедших трудный ритуал посвящения. Момент разрыва, таким образом, становился сразу же и моментом обретения новой, еще более сильной связи.

Социальный ритуал изображается у наших авторов как своеобразное мистериальное единение. «...Судьба, столь благословенная, установила [между императором и народом] нерушимые связи, невидимые непосвященному (des rapports inaperçus du vulgaire)», — настаивал Уваров, с несколько истерическим напором уверяя своего воображаемого корреспондента: именно созерцание пожара дало бы возможность внешнему наблюдателю

...оценить чудесную внутреннюю связь страны... где любовь всего общества охватывает, пронизывает, покрывает покровом тысячи рук повелителя своего государства, одинокого и тем не менее при всем своем одиночестве вовлекающего в круг своего влияния эту могущественную массу, которая неустанно тянется к нему (Уваров 1837).

И в этом смысле чем более трагическим является само событие, тем более интенсивное единение оно рождает: «...узами скорби еще сильнее скрепился союз между державным отцом и верными детьми его» (Жуковский 1885: 34).

Мы видим, что заполнение информационных, символических и идеологических «недостач» происходит во всех статьях при помощи последовательной замены напрашивающихся рациональных методов интерпретации эмоциональными символами и метафорами. Более того, эти рациональные методы декларативно отвергаются как неуместные и даже оскорбительные для того, что является доминантой события, — чувства, которое испытывают от созерцания пожара, его описания и его последствий каждый представитель нации и вся она в совокупности. «Боже сохрани, нас измерять утрату миллионами, каких будет стоить возобновление! <...> теперь не место почерпать утешения в расчетах политической экономии», — восклицает Вяземский. «...У кого из нас не сжалось бы сердце при воспоминании о ночи 17/29 декабря? — вопрошает Уваров. — Какой русский пройдет хладнокровно перед дворцом, еще недавно столь прекрасным, а сегодня таким пустынным и необитаемым? Что касается меня, я признаюсь, что не принадлежу к числу тех, кто переводит страдания целой столицы, целой страны в цифры бюджета» (Уваров 1837).

Башуцкий, которому после возобновления дворца было поручено написать о его истории, пожаре и восстановлении, специально оговорил, что не будет вдаваться в подробности уникальных технологий, использованных архитекторами и инженерами (Башуцкий 1839: 313). Главное же препятствие, по Башуцкому, заключается в том, что для уяснения этих деталей

 Чему способствовал пожар?

недостаточно обладать здравым умом и начальными сведениями в архитектуре и строительстве — нужно нечто большее. Мистериальным значением наделялся не только пожар, но и последующая реставрация: «...этот расчет и механизм построения, на которых все основано, которым все обязано и красотой, и прочностью, и самобытностью, — непонятны для не посвященных в таинства...» (Башуцкий 1839: 403).

Эти таинства — отнюдь не тонкие профессиональные материи, не секреты ремесла. Речь идет о действии неких трансцендентных сил, благодаря которым дворец был в течение года полностью восстановлен (Башуцкий 1839: 300).

2

Эмоциональная составляющая является, пожалуй, главной в нарративе о пожаре Зимнего дворца. Эмоции испытывают здесь попеременно и одновременно рассказчик, герои его повествования, его читатели и, самое главное, те, кто не смогут прочесть ни французских, ни русских описаний пожара, поскольку попросту не умеют читать, — те, кого Вяземский, Уваров, Жуковский и Башуцкий называют «народом».

Короткий текст Вяземского буквально пронизан описаниями эмоций. Он пишет о том, что вся Россия «примет близко к сердцу» потерю Зимнего дворца, рассказывает, что в театре «публика горела нетерпением видеть царя», вернувшегося накануне из продолжительной поездки, а когда он внезапно покинул театр, получив известие о начале пожара, по зале распространились «грустные и неясные предчувствия». Упоминает Вяземский и о том, что супруга Михаила Павловича «принесла дань прекрасных слез на общее бедствие». Напомню, что и Пушкин, если бы был жив, по мнению Вяземского, «пролил бы поэтические слезы свои» на развалинах дворца (Вяземский 1838). Башуцкий, правда, пошел еще дальше, мотивировав весь свой более чем стостраничный текст тем, что «не мог отказать сердцу своему в потребности сообщить об этом предмете соотечественникам» (Башуцкий 1839: 74).

Но самые пространные, отчасти даже тавтологичные описания эмоций появляются у Вяземского тогда, когда речь заходит об отношениях Николая Павловича и его подданных: «Прекрасно и умирительно было видеть, как любовь теснила к нему толпу; благоговение ее удаляло: когда шел Он, весело было смотреть на эти две живые стены перед Царем, которые внезапно за ним сдвигались» (Вяземский 1838).

Письмо Жуковского устроено несколько иначе. Он намеренно сталкивает в своем тексте словарь, относящийся к работе мысли и памяти, и словарь, связанный с эмоциями. Первый же абзац статьи завершается характерной кодой, в которой ментальное стремительно перетекает в эмоциональное: «...не знаешь, чему дивиться, величию ли того, что погибло... могуществу ли силы, которая так легко и так быстро уничтожила то, что казалось вечным» (Жуковский 1885: 22). Схожие эмоционально-рациональные фигуры находим и в следующих пассажах его текста: «...кто из нас не *думал*... с одинаким, всем нам общим *чувством*», «теперь, при *мысли*, что Зимний дворец наш больше не существует, пробуждается *в душе* что-то похожее на сиротство...» и т.д.

Чем больше Жуковский изливает читателю собственные мысли и впечатления от происшествия, тем больше отходит на задний план весь ментальный словарь, уступая место словарю эмоциональному. Эмоциями, но

не анализом причин и последствий пожара захвачен любой человек, направляющий свой взор на пепелище дворца и размышляющий о произошедшем: развалины дворца «горестно видеть» (Там же: 27), пожар «ужаснул» Петербург и стал «горестным... для целой России» (Там же: 29).

Эмоциональную основу имеет и связь монарха с его подданными: «Если царю необходимо быть любимым от своего народа, то ему еще необходимо любить народ свой» (Там же). Жители самых разных регионов империи, встречавшие и приветствовавшие в продолжение 1837 года наследника цесаревича во время его путешествия по стране, «оживотворялись одинаким чувством» — и это «не было ни любопытство... ни робкое раболепство, ни своекорыстная надежда: это чувство было святая любовь русского народа, глубокая религия, перешедшая к нему по преданию от предков, религия, врезанная ему в душу его судьбою...» (Там же: 29). Характеристика этого всеобщего чувства весьма любопытна: двуединство «святой любви» и «глубокой религии» Жуковский определяет далее как «нечто такое, что никакая власть произвести не может, что есть драгоценнейшее сокровище русского самодержца, твердейшая опора самодержавия, на чем незыблемо стоит Россия» (Там же).

Это поистине революционное утверждение: оказывается, фундаментом государственного строя империи является не монархия как таковая и даже не самодержавие вкупе с православием и народностью, — но *чувство*, унаследованное народом «по преданию» от предков и при этом изобретенное автором прямо на страницах статьи с помощью весьма сомнительной терминологии: если любовь действительно является чувством, то под эту категорию весьма трудно подвести понятие религии.

Но Жуковский и не заботится о точности значений — ему важно создать некий расплывчатый семантический ореол, к которому можно будет апеллировать в дальнейших описаниях происходящего. Можно сказать, что описание толпы, окружавшей Зимний дворец во время пожара, и представляет самое точное содержательное наполнение изобретенной Жуковским эмоции: «...стоял народ бесчисленную толпою в мертвом молчании... объята благоговейною скорбию, толпа стояла неподвижно; слышны были одни глубокие вздохи, и все молились за государя» (Там же: 33).

Точно такие же детали поведения толпы находим и у Уварова: «...сто тысяч человек... с поистине религиозной скорбью взирали на это жилище царей, которое погибало прямо у них на глазах; ни крика, ни малейшего движения, никаких отвратительных порывов, овладающих часто простым народом в подобных бедствиях. <...> Толпа снаружи, как и толпа внутри, казалось, была поглощена величием происходящего и не решалась проявлять сильных чувств» (Уваров 1837).

Хотя Уваров и несколько сдержаннее Жуковского в использовании эмоционального словаря, он энергично акцентирует идею тесной и взаимной эмоциональной связи императора и народа. Именно эта идея становится в его интерпретации главным контраргументом в полемике с западными (прежде всего французскими) критиками николаевского режима. Уваров фактически заявляет, что никакой рациональный аналитик российской жизни и российских порядков не ухватит истинного положения вещей и непременно ошибется в своих прогнозах, поскольку любой иностранный наблюдатель занимает внешнюю по отношению к объекту его анализа позицию, но только пребывание внутри народного тела помогает — нет, не понять, а именно *воспринять на эмоциональном уровне* те чувства, которые

Чему способствовал пожар?

взаимно испытывают друг к другу монарх и его подданные: «Поверьте, милостивый государь, его судьба... установила взаимный ток сердечного почтения и разумного энтузиазма, который нельзя ни узнать, ни даже понять за пределами страны, в которой мы живем» (Там же).

Основная идея тютчевского четверостишия 1866 года, которое на протяжении почти ста пятидесяти лет, как камлание, повторяют идеологи всех мастей, была сформулирована Уваровым почти тридцатью годами ранее.

Однако весь этот эмоциональный нарратив был бы не более чем «плетением словес», если бы он не имел явной прескриптивной функции: статьи о пожаре не только описывают то, что происходило и происходит, они предписывают читателям правильную, нормативную реакцию на пожар и подобные ему события. Более того, через введение эксклюзивистских конструкций (см. цитировавшийся выше пассаж Уварова: «...какой русский пройдет хладнокровно...») человек, не испытывающий предписанных ему ощущений и переживаний, автоматически исключается из национального тела. А тот, кто найдет или вызовет в себе должные эмоции, конечно, не будет уже задавать лишних вопросов.

В заключение этого раздела необходимо пояснить, какие методологические предпосылки позволяют изучать эмоциональную культуру эпохи, опираясь на источники, имевшие прескриптивный характер. В своей интерпретации формирования эмоциональной культуры я следую концепции Маргарет Кларк, которая утверждала, что «выбор в пользу выражения эмоции или ее когнитивного “проигрывания” может интенсифицировать или даже создать актуальный опыт такой эмоции, в то время как выбор в пользу подавления этой эмоции или отказа от размышления о ней может иметь прямо противоположный результат» (Clark 1989: 266). По мнению другого исследователя истории эмоций, Уильяма Редди, эмоции и разные способы их вербального выражения постоянно динамически взаимодействуют (Reddy 2001: xii).

Вопрос о том, насколько готовы были — на сознательном или бессознательном уровне — российские читатели того времени усвоить адресованные им предписания, заслуживает отдельного исследования. Замечу лишь, что, по мнению составителей обширной «Истории эмоций в Соединенных Штатах», «люди часто строят свою жизнь, иногда пытаюсь приспособиться к господствующим стандартам, иногда интериоризируя их, иногда им сопротивляясь, но всегда соотнося опыт и предписания» (Stearns, Lewis 1998: 2).

3

На первый взгляд, избранный нашими авторами тип письма является подхватом сентименталистских идеологии, эстетики и стилистики¹⁴, которые повлияли на формирование эмоционального репертуара сразу нескольких

14 Татьяна Кузовкина полагает, что «официальные публицисты, и в наибольшей степени издатель “Северной пчелы” Булгарин, использовали поэтику и стиль произведений низовой беллетристики» (Кузовкина 2002). Для Вяземского, Уварова и Жуковского образцами, скорее всего, послужили произведения более давние и, соответственно, более эксклюзивные и новаторские для литературы 1790–1810-х годов.

поколений (от 1760-х до 1800-х, а в провинции даже 1810-х годов рождения). В конце 1830-х годов сентиментальная литература еще составляла актуальный культурный багаж читательской аудитории. Однако этого беглого впечатления недостаточно — важно понять, в какой момент, в каких текстах и каким образом индивидуальная (по определению) эмоция сентиментальной литературы превратилась в коллективную, а привязанность или любовь к возлюбленному/родственнику/другу — в чувство, которое этот коллектив испытывает к монарху.

Ричард Уортман впервые обнаруживает случай такой перекодировки в нарративе николаевской коронации 1826 года. По его словам, автор официального отчета избрал «сентименталистский персональный голос для выражения коллективных чувств не только элиты, но и самого народа» (Уортман 2004: 1, 375). По-видимому, этот случай был «первой ласточкой» в официальной публицистике николаевского царствования, но интересующую нас перекодировку произвел все же не автор упомянутого отчета, а Николай Михайлович Карамзин.

Если внимательно посмотреть на прозу и публицистику Карамзина начала 1800-х и особенно на «Историю государства Российского», мы найдем там немало примеров коллективных эмоций, особенно — описаний пылких чувств подданных по отношению к государю и государству и, наоборот, государя — по отношению к подданным. Так, Марфа-посадница, настаивая на своей правоте, возглашает: «Пусть говорят враги мои, и если они докажут, что сердца новгородские не отвечают моему сердцу... я не буду оправдываться, ибо славюсь моею виною и с радостью кладу голову свою на плаху...» (Карамзин 1964: 1, 713), а о завоевавшем Новгород царе Иоанне в той же повести говорится: «Не грозный чужеземный завоеватель, но великий государь русский победил любовь отца-монарха сияла в очах его» (Там же: 1, 724). После покорения города его вечевой колокол был отправлен в Москву, и некоторые новгородцы отправились его провожать «с безмолвною горестию и слезами, как нежные дети за гробом отца своего» (Там же: 1, 727).

В одной из карамзинских статей «Вестника Европы» начинают формироваться те самые эксклюзивистские конструкции, которые мы наблюдали в текстах 1837–1838 годов — Карамзин здесь обрушивается на «холодных людей», «которые не верят сильному влиянию *изящного* на образование душ и смеются (как они говорят) над *романическим патриотизмом*», и изрекает им приговор: «Не от них отечество ожидает великого и славного; не они рождены сделать нам имя русское еще любезнее и дороже»¹⁵ (курсив авт. — М.М.).

В «Истории государства Российского» сильные патриотические эмоции испытывает прежде всего сам рассказчик. Вспомним знаменитый фрагмент предисловия: «...*сердце* мое еще *сильнее бьется* за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона...» (Карамзин 1988, 1; I: IX–X; курсив мой. — М.М.). Но не остаются в стороне и его герои: чтящие свой монарший долг князья и цари неизменно преисполнены самых сильных и теплых чувств к своим подданным и радуют за их благополучие, за что и удостаиваются столь же сильных ответных чувств: «...никто *не мог без умиления* видеть,

15 О.О. [Карамзин Н.М.] О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств // Вестник Европы. 1802. № 24. С. 308 (ср.: Карамзин 1964: 2, 197).

Чему способствовал пожар?

сколь Димитрий [Донской] предпочитает безопасность народную своей собственной, и *любовь общая* к нему удвоилась в сердцах благодарных» (Карамзин 1988, 2; V: 14; курсив мой. — М.М.).

Согласно концепции Карамзина, особенно глубоким и родственным было отношение русских к своим князьям в домонгольскую эпоху. Так, рассказывая о погребении новгородского князя Всеволода, он замечает, что «народ... погребал тогда государей как истинных отцов своих, с *чувствительностию и слезами*, забывая их слабости и помня одни благодеяния...» (Карамзин 1988, 1; I: 59—60).

Усердным ученикам оставалось только перенести эти исторические описания на современный материал. Очевидно, что и для Вяземского, и для Жуковского, и для Уварова карамзинская школа описания коллективных эмоций не прошла даром.

Жуковский, например, осваивал эту проблематику в несколько этапов. На первом, пришедшемся на 1810-е годы, он описывает любовь народа к монарху в терминологии индивидуального чувства, а значит, и индивидуального выбора, совершаемого каждым подданным в результате некоей внутренней работы. Приведу несколько примеров из хрестоматийных стихотворений:

Пусть верности обет, отечество и честь
Велят нам за Царя на *жертву* жизнь принести —
От подданных Царю *коленопреклоненье*;
Но дань свободная, дань сердца — уваженье,
Не власти, не веницу, но человеку — дань...
(«Императору Александру», 1814; Жуковский 1999: 378;
здесь и далее в цитатах из Жуковского курсив мой. — М.М.)

За *сладкий жребий наш*: любить,
Как друга, Властелина —
О всемогущий царь земли,
Тебе благодаренье!

(«Певец в Кремле», 1816; Жуковский 2000: 41)

Для того чтобы перейти от лейтмотива гражданской лирики 1810-х — «свободной дани сердца» — к констатации вечной и неизменной любви народа к монарху, требовалось сделать довольно решительный шаг. Различие между патриотической лирикой Жуковского 1810-х и 1830-х очень точно определила в своей первопроектной статье Л.Н. Киселева. По ее мнению, в 1812—1816 годах «любовь в сердцах подданных вызывала личность императора Александра», и Жуковский счел возможным перевести «славу, победоносность, равно как великодушие и гуманность, в статус постоянных и неизменных характеристик русского царя». Но в 1830-е все обстояло иначе: Жуковский «слишком близко знал Николая I, чтобы сказать о нем “трона красота — великая душа”», и тогда ему пришлось вооружиться идеей самодержавия, идти от общего — к частному. Однако поскольку для достижения соответствующего эмоционального градуса все равно были необходимы «искренний энтузиазм, поэтическое воодушевление», при сочинении в 1833 году российского гимна ему пришлось вдохновиться воспоминаниями о «восторге 1812 года» (Киселева 1998: 30—34). Как можно видеть по статье о пожаре Зимнего дворца, в 1837 году на помощь поэту пришли вос-

поминания и о трагических днях наводнения 1824-го, и о душевном трепете декабря 1825-го. Не менее важно и то, что, отказавшись от концепции личного выбора и индивидуального чувства, Жуковский отошел и от соответствующего языка описания: на смену относительно дифференцированному эмоциональному словарю 1810-х в 1830-е годы приходит более простой, «одномерный», скорее всего, прямо восходящий к стилистике Карамзина 1800–1810-х годов.

Однако в карамзинской концепции «эмоционального патриотизма» было одно звено, которое оказалось — во всяком случае, на уровне публичной риторики — проигнорированным его последователями. Я имею в виду акцентирование им рационального, рефлексивного момента как придающего более высокий статус первоначальной эмоции и ставящего ее на совершенно иную ступень общественного служения и общественной пользы. «Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях, — пишет Карамзин в статье “О любви к отечеству и народной гордости”. — Он требует рассуждения — и потому не все люди имеют его» (Карамзин 1964: 2, 281). Установку на невозможность и даже нежелательность соединения «рассуждения» и «чувства» можно, пожалуй, считать центральной в создававшемся в 1830-е годы языке описания событий общенационального значения.

4

Лингвистическим симптомом доминирования этой установки можно считать появившееся в статьях Вяземского и Жуковского выражение «память сердца». Характерно, что в обоих случаях речь идет о «воспоминаниях» и «преданиях» наводнения 1824 года:

...народ, богатый памятью сердца, до сих пор набожно хранит воспоминание об этом дне, ознаменованном тяжким бедствием и такою великою скорбию... (Вяземский 1838).

И в народе, одаренном памятью сердца, живо предание о сих прекрасных днях Александра... (Жуковский 1885: 25)¹⁶.

Введенное впервые в русский литературный язык в знаменитом стихотворении К.Н. Батюшкова «Мой гений», это выражение используется и Жуковским, и Вяземским в несколько ином значении. Батюшковское изобретение, с помощью которого стало возможным говорить о памяти не рассудка, но чувства, на глазах у читателя перекодируется: обозначение индивидуальной эмоции по отношению к возлюбленной и сладостного воспоминания о ней сменяется обозначением общего, даже общенационального переживания, и при этом «память сердца» осмысливается как некая природная способность, которой тот или иной народ может быть наделен в большей или меньшей мере. Сами же использованные Жуковским

16 У Башуцкого появляется впоследствии не «память», но «воспоминание» сердца: «И нам-то, Дворец Зимний невыразимо драгоценен; это время не может быть ничем изглажено из памяти, и каждый угол, каждый камень дворца освящен для воспоминаний нашего сердца нерушимым заветом удивления, любви, преданности, благодарности!» (Башуцкий 1839: 76).

 Чему способствовал пожар?

и Вяземским конструкции, несомненно, означают, что русский народ в большей степени «одарен» или «богат» памятью сердца, чем другие.

Семантике и генезису выражения «память сердца» посвящено новаторское исследование Михаила Гронаса (Гронас 2001). Небесполезно было бы соотнести основные положения этой статьи с проблематикой «эмоционального нарратива» 1830-х. Согласно Гронасу, русский язык, как и прочие европейские, «концептуализирует память как преимущественно ментальное, интеллектуальное явление». Однако на самом деле память имеет как минимум два уровня, так что можно говорить даже о том, что существует два рода памяти: общая, связанная со знаниями и фактами, и личная, эмоциональная, связанная с индивидуальным опытом (Гронас 2001: 78, 79).

К.Н. Батюшков был первым, кто придумал лаконичную русскую формулировку для концептуализации эмоциональной (эпизодической) памяти, и язык, как полагает Гронас, канонизировал это выражение. Гронас утверждает, что наибольшее распространение это выражение получило в заглавиях книг воспоминаний и поэтических сборников, создававшихся в 1950–1980-е годы и подводивших итоги деятельности их авторов в предшествующий период советской истории, прежде всего — во время Второй мировой войны. Все приведенные им примеры заглавий, предисловий и финалов книг однозначно свидетельствуют о том, что советские «памяти сердца» отсылают или к коллективной эмоции, или к попытке выразить чувство личной причастности к событиям общенационального значения. Гронас считает неотъемлемым свойством такого рода заглавий противопоставление эмоциональных *воспоминаний* авторов их *знанию* о советской действительности (Там же).

Гронас в своей статье не ставит задачи проследить, как, когда и каким образом индивидуальная «память сердца» превратилась в «коллективную»: Батюшков и советские мемуаристы так и остаются у него крайними точками пространства концептуальной и лингвистической трансформации эмоций. Однако уже сейчас понятно, что в формировании общезначимых представлений о «коллективном национальном переживании» 1830-е годы вообще и деятельность Жуковского, Вяземского и Уварова в частности играли едва ли не ключевую роль.

5

В сочинениях всех трех бывших «арзамасцев», равно как и в цикле статей А. Башуцкого, Зимний дворец предстает как «место памяти» — в том смысле, в котором определяет этот термин Пьер Нора:

Фундаментальное право мест памяти на существование состоит в остановке времени, в блокировании работы забывтья, в фиксировании настоящего порядка вещей <...> Память «вцепляется» в места, как история — в события (Нора 1999: 41, 46).

Таким образом, как уже неоднократно отмечали историки, «место памяти» одновременно выражает стремление поддерживать связь с прошлым и демонстрирует невозвратимость этого прошлого, то есть свидетельствует о разрыве времен, который и призвано преодолеть. Именно такой разрыв зафиксировали в своих текстах Вяземский, Уваров, Жуковский и Башуцкий. «Удержание» радикального отчуждения от прошлого и посто-

янное эмоциональное возвращение к трагической дате особенно заметны у Вяземского.

Однако все три автора представляют в своих статьях сторевший Зимний дворец как особый тип места памяти — сакрализованное *место чуда*. В их статьях под чудом понимается катастрофическое испытание, посланное сообществу подданных, и непостижимое *возрождение* сообщества, которое сохранило верность монарху.

По-видимому, такой исторический сценарий не слишком устраивал Николая I, для которого сюжет разрыва в истории и последующего возрождения подразумевал возможность обновления, а эта идея была для него весьма нежелательной. Отношение императора к публикациям о пожаре, по-видимому, вполне соответствовало известной формулировке героя повести М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»: «...что значит восхищение начальством? Это значит такое оным восхищение, которое в то же время допускает возможность оным *невосхищения*! А отсюда до революции — один шаг!» (Салтыков-Щедрин 1969: 420).

Реконструкция Зимнего дворца была проведена в рекордные сроки — за пятнадцать месяцев, в работе были использованы самые передовые для того времени технологии и инженерные решения (Пилявский 1974а). Кажется бы, все это могло быть с выигрышем использовано правительственной пропагандой. Однако печатные упоминания даже о самом факте реконструкции дворца были минимизированы.

«При восстановлении архитекторы были обязаны руководствоваться собственноручной запиской Николая I, составленной им после осмотра пожара 26 декабря. В записке он дал указания по многим отдельным помещениям. Из документа явствует, что император стремился во что бы то ни стало восстановить помещения в их прежнем виде» (Там же: 133). Впрочем, в новом здании все же были сделаны довольно многочисленные изменения, позволившие осовременить совсем уж архаичные элементы интерьера и конструкции (Пилявский 1974а: 134); главное, что заботило Николая, по-видимому, — чтобы эти подновления не были слишком уж акцентированы на риторическом уровне.

Наиболее ярко эти интенции императора проявились в цикле статей Башуцкого. Описывая восстановление дворца, он вынужден констатировать, что оно совершалось тихо, незаметно, словно бы за задернутым занавесом. Настойчивое желание риторически задрапировать место действия, а на самом деле — саму историю восстановления (как прежде — историю возникновения пожара) приводит рассказчика к явным противоречиям: сперва он говорит о том, что дворец выглядел как еще только приготавливающийся после пожара к реконструкции, а уже на следующей странице — что в период строительных работ он был похож не на ремонтируемое, а на жилое помещение: «...богатырская работа закипела, но так стройно, тихо, в таком порядке, что мы, жители городские, *могли бы думать*, что около дворца еще не делается ничего, *что это приготовление только для будущей его отстройки* <...> везде тишина и порядок; сквозь вставленные окна не видно никого; только трубы дымятся над высокою крышею дворца, и по вечерам, за оконницами, виднеется свет; — если б мы не знали, что менее года тому назад дворец сторел, то *могли бы думать, что он не переставал быть обитаем*» (Башуцкий 1839: 297, 298; курсив мой. — М.М.).

Император воспрепятствовал печатанию сочинения Жуковского и, судя по косвенным данным, посчитал нежелательной публикацию «письма» Уварова,

скорее всего, именно потому, что видел в статьях о пожаре лишь ненужные указания на разрыв, сбой исторической преемственности и — что, по-видимому, не менее важно — воспоминания об очень неприятном для него событии.

6

Ни в одном из описаний пожара и ни в одном из исследований его публичной рецепции не упоминается о том, какое событие послужило для большинства образованных российских наблюдателей (и читателей) значимым прецедентом этого происшествия и одновременно создавало актуальный фон для его восприятия. Я имею в виду произошедший в октябре 1834 года пожар Вестминстерского дворца в Лондоне. Из сопоставления английских газетных публикаций того времени с российскими статьями о пожаре декабря 1837-го становится понятно, с одной стороны, насколько сильно отечественные авторы ориентировались на английские образцы, а с другой — какие элементы дискурса британской прессы были принципиально проигнорированы в России.

Впрочем, сами современники сравнивали пожар Зимнего дворца отнюдь не с пожаром Вестминстера, а с двумя катастрофами, разразившимися в Париже и Лондоне буквально две недели спустя после петербургской: с пожаром Лондонской биржи (Royal Stock Exchange) 10 января и пожаром Итальянского оперного театра в Париже (Théâtre Royal Italien) 15 января 1838 года (обе даты — по новому стилю). Упоминания всех трех пожаров через запятую, как свидетельства «суровой дани огню», которую должны принести все европейские столицы, стало общим местом и европейской, и российской прессы (см., например: GdF 1838: Janvier 17, или СПВ 1838: 18 января: 55). В России же распространено было мнение о том, что каждая из наций потеряла в этих пожарах свой главный символ. Однако для нашей темы важнее именно происшествие 1834 года, на синхронных описаниях которого мы и остановимся.

Пожар Вестминстерского дворца начался поздним вечером 16 октября. Его причиной официально назвали неосторожность при массовом сжигании в печах дворца так называемых казначейских мерных реек¹⁷, что вызвало перегрев дымоходов (MCh 1834: October 25). Этот пожар был по масштабам столь же разрушительным, что и пожар Зимнего, однако благодаря достаточно слаженному действию пожарных команд и согласованным распоряжениям пожарных и полицейских начальников обошлось без человеческих жертв. Главным достижением пожарных стало спасение Вестминстер-холла — самой древней и исторически ценной части вестминстерского комплекса. Осуществить это оказалось возможным только потому, что пути распространения огня через ближайшие строения были молниеносно перекрыты: «...крыши прилегающих зданий были разобраны, и таким образом Вестминстер-холл был спасен от почти верной гибели» (MTG 1834: October 18).

Метод, к которому прибегли в этом случае британские пожарные, столь сильно напоминает о мерах, предпринятых в ночь с 17 на 18 декабря 1837 года для сохранения Эрмитажа, что закрадывается подозрение о том, что кто-

17 Казначейские мерные рейки (англ. — tally sticks) — небольшие прямоугольные палочки с насечками, обозначавшие сумму долга; вышли из употребления в 1826 году.

то из руководителей петербургской спасательной операции (сам Николай I, или откомандированный на защиту Эрмитажа Михаил Павлович, или кто-то из членов свиты одного или другого брата) прекрасно помнил об обстоятельствах спасения Вестминстер-холла и сознательно использовал британский опыт. Характерно, что и Уваров сообщает о сохранении Эрмитажа почти в тех же выражениях, что и британская пресса — о Вестминстер-холле: он доказывает, что уцелевшая часть дворца была своего рода материальным воплощением воспоминаний, связанных с высшими этическими и интеллектуальными достижениями в недавнем прошлом монархии, — тем самым, что спасено не только самое главное во дворце, но и главное в государстве и даже едва ли не главное в его истории.

Страна будет иметь основание, принимая во внимание все обстоятельства, быть признательной за то, что Вестминстер-холл — место действия, свидетель и, мы почти сказали, живой участник стольких самых древних и благородных происшествий в английской истории, избежал этой приговорной кары (The Times 1834: October 17).

Зимний дворец был вообще населен историческими воспоминаниями последнего столетия нашей истории; но средоточием этих воспоминаний был Эрмитаж... посреди бедствий, которые только что потрясли Петербург, нам осталась радость сохранить самое прекрасное его украшение (Уваров 1837).

Прежде чем показать важнейшие содержательные переклички и расхождения между британской и российской прессой в описании «главного национального пожара», следует сказать об одном принципиальном различии институционального характера. Как уже говорилось выше, в российских газетах единственной информацией о пожаре Зимнего дворца была официальная реляция, впервые опубликованная в «Северной пчеле» и затем перепечатанная без изменений во множестве других газет. Большинство британских газет, включая провинциальные, публиковали собственные сообщения и комментарии, и все эти тексты — вне зависимости от того, опирались их авторы на сообщения собственных корреспондентов или имели дело с уже опубликованной в других газетах информацией, — сильно друг от друга отличались: иногда в оценках, иногда в выстраивании «сюжетов», но прежде всего стилистически.

1. Британские журналисты не смущались высказывать критические замечания по поводу организации тушения пожара. Во многих газетах говорилось как о доказанном факте, что палата общин была уничтожена с такой быстротой потому, что при тушении использовался только один насос, а не оба имевшихся в наличии (The Examiner 1834. October 19). Более того, авторы статей писали, что никакой героизм пожарных не искупает недостатков в организации их работы (MCh 1834: October 21).

В отличие от российской прессы британские газеты после пожара публиковали подробные репортажи о работе комиссии, расследовавшей его причины, и отчеты о допросах важнейших свидетелей (MCh 1834: October 24, October 25; The Derby Mercury 1834. October 22). В частности, подробно обсуждалась версия поджога (MCh 1834: October 18). Другой версией, которая обсуждала комиссия, была халатность работников дворцовых служб — пресса публиковала материалы и об этих предположениях (MCh 1834: October 23).

Чему способствовал пожар?

2. Как в официальном отчете, который был немедленно перепечатан во многих газетах, начиная с «The Times» (и до провинциальных изданий — например, «Hampshire Telegraph and Sussex Chronicle»), так и в эксклюзивных газетных репортажах подробно сообщалось о том, какие именно разрушения претерпели палата лордов и палата общин, и даже обсуждались различные оценки ущерба от пожара (The Examiner 1834. October 26). В официальном правительственном отчете были перечислены имена всех пострадавших.

3. Перспективы восстановления сгоревшего дворца также обсуждались публично. В отличие от российской ситуации, никто не говорил, что восстановление произойдет моментально и что новое здание будет точно таким же, как погибшее. Более того, один из комментаторов заявил, что и палата лордов, и палата общин были сооружениями «стилистически незначительными, неудобными в расположении и оскорбительными для национального вкуса» и поэтому их категорически нельзя восстанавливать в прежнем виде (The Morning Herald; цит. по: The Hull Packet (Hull, England) 1834. October 24). Ни у кого не вызвала сомнений необходимость внести в изначальные планы дворца существенные коррективы, чтобы использовать несчастный случай как возможность построить в центре Лондона действительно современное административное здание:

Нужно выждать время и прибегнуть к тщательному обсуждению, чтобы убедиться в том, что вновь возведенное величественное здание парламента будет достойно нашей великой нации. ...Давайте извлечем преимущества из этого случая, чтобы показать, что вкус и характер в плодах наших материальных трудов идут наравне с нашим законодательством и нашими парламентскими учреждениями (The Times. Цит. по: The Hull Packet. 1834. October 24).

4. Авторы британских газет, как и российские литераторы через три с небольшим года после них, уделяли внимание эстетической составляющей восприятия события и даже — в отличие от российских авторов — активно использовали эстетические критерии при сравнении наблюдаемого пожара с предшествовавшими (MCh 1834: October 20). Эстетические критерии, по мнению другого журналиста, были определяющими и для поведения всех, кто собрался перед горящим дворцом, поскольку они могли наблюдать уникальное событие визуального преобразования центра Лондона:

Не было ничего удивительного в толпе, которая устремилась к месту происшествия. <...> Это было одно из самых выдающихся зрелищ... [всех привлекал] величественный вид [Вестминстерского] аббатства, архитектурные красоты которого никогда не представлялись столь выигрышно, чем в тот день, когда они были освещены пламенем этого прискорбного пожара... (Hampshire Telegraph and Sussex Chronicle. 1834. October 20).

Поэтично (или живописно), по мнению британских газетчиков, выглядели даже руины сгоревшего дворца: «В течение субботы несколько художников находились на территории парламентских зданий, делая живописные наброски наружной части развалин с различных точек наблюдения» (MCh 1834: October 20).

Подобные эскизы, помимо тиражирования гравюр и экспонирования оригиналов на выставках, могли использоваться еще с одной целью: согласно сообщению «The Times» от 25 октября, в Театре Виктории было орга-

низовано своего рода оптическое представление, в ходе которого демонстрировались большой панорамный вид района вокруг Вестминстерского дворца до пожара и наброски, изображавшие различные стадии возникновения и распространения огня. Журналист поясняет: те, кто видел пожар с той же точки, что и художник, а именно с Суррейского берега Темзы, были глубоко впечатлены тем, с какой точностью все было зарисовано.

Здесь важно настойчивое стремление живописцев приблизиться к реалистам на минимальную, совсем не «благоговейную» дистанцию и немедленное сообщение об их работе в газетах.

5. Центральным топомом и российских, и британских описаний пожаров стало поведение толпы. Здесь мы находим как почти буквальные совпадения, так и кардинальные различия. Авторы «The Times», как и впоследствии Уваров или Вяземский, акцентировали благоговейное молчание народа, собравшегося перед горящим дворцом:

...общее чувство, которое выказывалось, было чувство печали, проявлявшееся или в созерцательном молчании, или в редких возгласах сожаления. Восхищение возвышенностью сцены, которая, казалось, поразила все умы, уступило место боли от потери этих благородных памятников мудрости и величия прошедших веков. Обыкновенно в случаях больших соборниц англичане достаточно шумно проявляют свои чувства; но в этом случае все было серьезно, благопристойно и вели себя разумно и мужественно (The Times 1834. October 17).

Британские газеты рассказывали о выражениях не только благоговения, но и других чувств — в первую очередь любопытства и беспокойства; вероятно, так можно было охарактеризовать и многих петербургских наблюдателей пожара, но ни в официальных сообщениях российских газет, ни в статьях литераторов мы не находим ничего подобного. На страницах «The Morning Chronicle» сообщалось: «Беспокойство публики, желавшей поближе посмотреть на вид руин, было столь велико, что было решено возвести ограждение, чтобы сдерживать натиск толпы» (MCh 1834: October 20). В дальнейшем газета информировала о том, что через десять дней после бедствия пепелище стало местом массового паломничества: «...огромные толпы людей, привлеченных не только любопытством, но и хорошей погодой, посетили пожарище» (MCh 1834: October 27). В другом номере та же «The Morning Chronicle» повествовала о поведении этих «посетителей»:

Более всего удивителен пыл, с которым люди пытаются добыть себе какое-то материальное свидетельство происшествия: кусочек камня или сгоревшего дерева, фрагменты сгоревших бумаг, просто листы бумаги считаются величайшими диковинками; за ними очень усердно охотятся и сохраняют их с величайшей осторожностью (MCh 1834: October 23).

В отличие от российских источников, в которых выстраивается риторика эмоциональной и символической сопричастности всех подданных императору и его семье, в британской газете речь идет не о символической, но о сугубо материальной сопричастности лондонцев к произошедшей катастрофе. За действиями новоявленных любителей реликвий и за возможностью обсуждать их в печати стояло совершенно иное отношение к государственным институциям и к публичному поведению частных лиц, нежели в России.

 Чему способствовал пожар?

Английские журналисты не только рассказывали о проявлении широкого спектра эмоций у непосредственных свидетелей произошедшего или у пришедших на пепелище, но и стремились анализировать состав эмоций тех, кто узнавал о лондонском бедствии из газет или слухов: «Само известие о том, что палата лордов, палата общин и их различные службы стали жертвой беспощадной стихии, пробудит странную смесь чувств горечи, удивления и сомнения (feelings in which sorrow, astonishment, and doubt, will be singularly mingled)» (MTG 1834: October 18).

Образ наблюдающей пожар толпы, создаваемый в британских и русских газетах, — это, по сути, «портрет» той нации, о которой говорит автор, и до некоторой степени образ той аудитории, к которой он обращается (это можно с уверенностью утверждать применительно к британской прессе и к статьям «Северной пчелы», Жуковского и Башуцкого; возможно, Вяземский и Уваров также рассчитывали на последующую публикацию своих статей в России). Эмоции, которые демонстрируют собравшиеся на пожар толпы народа, — это, собственно, и есть диапазон тех чувств, проявлять которые, по мнению авторов статей, допустимо или обязательно. Чем уже этот диапазон, тем более прескриптивный характер имеют соответствующие описания. Поэтому столь важен концепт «любопытства», нейтрально и даже иногда одобрительно используемый в британских статьях и игнорируемый и иногда порицаемый в российских. Разные ответы на вопрос о том, имеют ли право герои и читатели статей на проявления любопытства, приводит к конструированию в текстах о пожарах 1834 и 1837 годов принципиально разных типов эстетики возвышенного.

7

Знание о том, что стихийное бедствие или антропогенная катастрофа (например, кораблекрушение или пожар) могут быть источниками сильных эстетических переживаний, а не только ужаса, было к 1830-м годам канонизировано в литературе, изобразительном искусстве и эстетике романтизма — в значительной степени благодаря работам Эдмунда Бёрка, и особенно его трактату «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» (1757).

Напомню, что любопытство Бёрк считал фундаментальным свойством человеческой природы, определяющим саму возможность возникновения эстетических чувств:

Первая и самая простая эмоция, которую мы обнаруживаем в человеческой душе, — это любопытство. Под любопытством я понимаю любое наше стремление к новизне и любое удовольствие, которое мы от нее получаем. <...> В каждом средстве воздействия на дух одной из составных частей должна быть определенная степень новизны, а любопытство в большей или меньшей степени примешивается ко всем нашим аффектам (Бёрк 1979: 64, 65).

Полагая любопытство своего рода атомарным, первичным аффектом, английский мыслитель придавал способности человека получать особого рода удовольствие от созерцания катастрофы серьезный познавательный смысл. По Бёрку, это удовольствие основано на переживании, вызванном знанием человека о своей относительной безопасности перед лицом непознаваемого

и непредсказуемого. Поэтому и сопереживание жертвам несчастий осмысляется в работе Бёрка как сопоставительная рефлексия: для того чтобы пережить чувство возвышенного от созерцания другого человека в беде, «реципиент» должен примерить эту ситуацию на себя (Бёрк 1979: 72, 77).

Британские газеты повествуют о сокращении дистанции между наблюдателями (= народом) и ужасным зрелищем или его последствиями — руинами, пепелищем. Это сокращение дистанции представлено — в полном соответствии с Бёрком — как явление, имеющее познавательную и материальную природу (ср. стремление лондонцев разобрать на память фрагменты руин).

В российских текстах о пожаре Зимнего дворца акцентировано противоположное свойство — непознаваемость, суггестивность, трансцендентный характер зрелища. При этом реакция зрителей/толпы/народа на пожар не поддается и не должна поддаваться рациональному анализу. Выше я уже говорила о том, что, несмотря на катастрофичность предмета описания, бывшие «арзамасцы» в своих статьях используют рамочную конструкцию «чуда» и даже (у Уварова) мистерии, объединяющей посвященных. Вместо сокращения дистанции у них происходит нагнетание риторики эмоциональной и символической сопричастности катастрофе («мы потеряли наш дворец») ¹⁸.

И британские, и российские описания дворцовых пожаров создавались в эпоху, когда в философской эстетике происходили «обмирщение» и «натурализация» возвышенного, трансформация изначально связанного с этой эстетической категорией религиозного компонента (Кларк 2009; Лаку-Лабарт 2009). Сокращение дистанции между наблюдателем и зрелищем в британских описаниях пожара как раз и свидетельствует о таком «обмирщении». Однако в России, судя по статьям о пожаре Зимнего дворца, религиозный компонент не исчез, а был лишь перенесен в сферу государственной власти и при этом парадоксально дополнен требованием интимной эмоциональной поддержки этой власти всем «воображаемым сообществом».

8

Особенности прескриптивной функции текстов Жуковского, Вяземского и Уварова становятся понятнее при обращении к теории «расширенного самоощущения» (extended-self). Согласно этой теории,

...способность к «расширению самоощущения» (extended-self) позволяет людям представлять себя в других местах и в другие периоды, находящиеся вне их текущей ситуации. <...> Джейнс предполагает, что люди обладают способностью создавать так называемое «аналогичное я» (analogue I) в своем сознании, а потом когнитивно манипулировать этим аналогом, чтобы вспомнить или представлять себя в других контекстах. <...> Множество человеческих эмоций возникает при воображении прошлых или будущих событий. Операции с «аналогичным Я» вызывают к жизни целый набор чувств (Leary 2007: 42–45).

18 Становление и развитие в русской культуре эстетики возвышенного и ее взаимосвязи с идеями имперской власти и колонизации подробно прослежены в работе Харши Рама (Ram 2003), однако он не ставит задачи специально рассмотреть связь эстетики возвышенного с эмоциональной культурой.

Чему способствовал пожар?

Описание поведения наблюдателей, собравшихся вокруг места пожара, а потом и пепелища, как раз и было для всех потенциальных читателей таким конструированием «расширенного самоощущения»: они представляли себе, как бы они сами могли реагировать на пожар. Вяземский, Жуковский и Уваров предлагают читателю, пользуясь «аналогичным Я» как посредником, привести свое самоощущение в соответствие с тем, что тот мог бы переживать, если бы стал свидетелем пожара. В сущности, это и есть типичная стратегия сентиментализма. Уваров делает следующий шаг и делит потенциальную аудиторию на посвященных — тех, кто в принципе способен соотнести себя через «аналогичное Я» с поведением толпы на пожаре, — и на внешних наблюдателей, к которым он (через голову «посвященных»!) обращается и которые обязаны поверить ему на слово. Чтобы усилить эмоциональную суггестивность и ощущение достоверности, Уваров делает поразительный риторический кульбит: сообщение о чувствах, недоступных «внешним», он оформляет как доверительное послание к одному из этих «внешних» — которому, вероятно, остается только завидовать тем, чье «аналогичное Я» способно перенести их в зимнюю ночь на петербургской Дворцовой площади и побудить их «покрыть покровом тысячи рук повелителя своего государства».

Статьи, опубликованные в британских газетах, имели не только познавательную и коммуникативную, но и психологическую задачу: они помогали читателям управлять эмоциями страха, растерянности, любопытства и т.п., которые были вызваны к жизни опытом очевидца или известиями о пожаре Вестминстерского дворца, и справляться с ними. Дифференцирующие описания и характеристики нужны были для того, чтобы читатель мог рефлексивно отделить разнообразные эмоции друг от друга и преодолеть психическую травму, возникающую от разрушения одного из символических центров «воображаемого общества».

В отличие от британской ситуации, российские тексты о пожаре Зимнего дворца имели совершенно другую психологическую функцию: они были призваны «подвесить» (изолировать), канализировать, сфокусировать чувства читателей или — поскольку сочинения Вяземского и Уварова были рассчитаны на публикацию за границей — создать образ общества, которому устроенная таким образом эмоциональная жизнь придает исключительную психологическую и этическую сплоченность.

Как можно аналитически описать этот феномен коллективной психологии? Попробую предложить один из возможных вариантов, основанный в первую очередь на метафорической логике источников. Широко известно, что Уваров — и в либеральный, и в консервативный период своей биографии — очень любил уподоблять различные эпохи в развитии государств периодам жизни человека. Слова «младенчество», «юность», «зрелость» и «дряхлость» в публичных высказываниях он почти никогда не использовал применительно к отдельным индивидам и говорил исключительно о разных возрастах «больших» формаций. В своей речи 1818 года, посвященной открытию кафедр истории и восточных языков в петербургском Главном педагогическом институте, Уваров настаивал на том, что переходы от одного возраста к другому неизбежны в истории каждого государства, им невозможно противодействовать — можно только смягчать их течение и последствия:

Государства имеют свои эпохи возрождения, свое младенчество, свою юность, свой совершенный возраст и, наконец, свою дряхлость. Наблюдение сих больших перемен, первый долг попечительного правительств-

ва. Желание продолжить один из сих возрастов далее времени, назначенного природою, столь же суетно и безрассудно, как желание заключить возмужающего юношу в тесные пределы младенческой колыбели. Теория правительства в сем случае походит на теорию воспитания. Не то достойно похвалы, которому удалось увековечить младенчество физическое или моральное; то премудро, которое смягчило переходы одного возраста к другому, охранило неопытность, заранее открыло способности ума, предупредило опасности и заблуждения, и, повинаясь закону необходимого, возрастало и зрело вместе с народом или с человеком (Уваров 1818: 52).

Однако в начале 1830-х годов Уваров резко меняет взгляд на роль правительства при «взрослении» государства. В августе 1835 года петербургский цензор А.В. Никитенко записывает в дневник примечательную реплику, произнесенную министром народного просвещения:

Мы, то есть люди девятнадцатого века, в затруднительном положении: мы живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь не может предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система. <...> Мое дело не только блюсти за просвещением, но и блюсти за духом поколения. Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно (Никитенко 1955; 1, 43–44).

Можно предположить, что желание «продлить юность» России и «отодвинуть» страну от ее же собственного будущего реализовывалось применительно не только к институциям и общей конструкции публичного пространства, но и собственно к ментальным и дискурсивным практикам, которые Уваров считал полезными или вредными для поддержания статус-кво. Характерно, что записанный Никитенко монолог о «юности» и «девственности» России воследовал после личного цензурирования Уваровым статьи о Фридрихе Великом, которую О. Сенковский предполагал поместить в «Библиотеке для чтения»: по сообщению Никитенко, Уваров тогда же приказал Сенковскому убрать из статьи все сравнения с Россией.

Концепция «продления юности» общества у Уварова была основана на синтезе двух довольно разных (хотя и не взаимопротиворечивых) философских идей: идущего от И.Г. Гердера представления о том, что разные этапы развития народов соответствуют разным возрастам человека, и руссоистской идеализации ребенка. Правда, министр, судя по пересказу Никитенко, уподоблял российское общество не маленькому ребенку, о котором писал Руссо, а молодой девушке («Россия юна, девственна»), то есть существу, потенциально подверженному вредным влияниям и требующему особого попечения старших¹⁹. Очень важно, что у Уварова обе эти идеи объединены жесткой рамкой социального конструктивизма: вспомним хотя бы записанное Никитенко «обещание» «отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории».

19 О концептуальных основаниях уподобления характера человека характеру народа в русской литературе и общественной мысли 1800–1810-х годов см.: Живов 2008.

Чему способствовал пожар?

За монологом Уварова и написанной через два с половиной года после разговора с Никитенко статьей, по-видимому, стоит одна и та же логика. Более того, схожие интенции можно проследить в сочинениях о пожаре всех трех бывших «арзамасцев»: все они, признавая существование «брешей» в символических порядках, руководствовались стремлением защитить общество от «кровавых тревог», которые может принести с собой осмысление современного положения империи. Во всех трех случаях защита мыслилась как продиктованный прежде всего сакральным характером события отказ от артикуляции и анализа разнообразия эмоций, распространенных в обществе.

Последовательное вытеснение и дискредитация любых эмоций, основанных на любопытстве, приводит к сосредоточению авторов статей о пожаре на двух видах эмоций: сопричастности монарху и его семье, которая, как выясняется, и конституирует общество, и элегического переживания «разрыва», которое, как уже было показано выше, провозглашается во всех трех статьях новым источником сопричастности.

Мысль о том, что уникальность и историческое значение России определяются силой и благородством тех чувств, которые испытывают ее подданные к своему монарху, была в 1830-е годы достаточно распространенной — и не только в собственно российской публицистике и литературе (см., например, драмы Н. Кукольника), но и в сочинениях французских легитимистов (Мильчина 2004: 362–364). Однако интересна стратегия «менеджмента эмоций»²⁰ (или их «проектирования»), примененная российскими авторами. Во всех трех статьях изображение эмоций сопричастности с необходимостью оказывается *не аналитическим, а синтетическим*. Ср., например, декларативный отказ от любого рода «низменных» (и в то же время очень пестрых) чувств в противовес суггестивному нагнетанию синонимичных конструкций у Жуковского: «...оживотворилось одинаким чувством, и это чувство не было ни любопытство, пробуждаемое в толпе явлением необычайного, ни робкое раболепство, ни своекорыстная надежда... святая любовь русского народа, глубокая религия, перешедшая к нему по преданию от предков, религия, врезанная ему в душу его судьбою...» (Жуковский 1885). Или тавтологические перечисления Уварова: «...любовь всего общества охватывает, пронизывает, покрывает покровом тысячи рук повелителя государства...» Уваров, пожалуй, больше, чем остальные, акцентирует эмоциональное единообразие: «заговорщики» и «подстрекатели», по словам министра, «могут лишь, как они это делали раньше, стянуть еще крепче этот пучок воли, сообщить большую силу движениям этой воли, больше единства этим чувствам» (Уваров 1837).

Вольным или невольным последствием такого синтетического изображения эмоций как раз и оказывается «торможение», которое обещал совершить в России Уваров. По-видимому, и сам министр предполагал, что оно будет происходить посредством внедрения определенных значимых образцов и жесткого цензурирования и не иметь никаких внешних черт аномалии: государственнические (или официальные) дискурсы могут иметь весьма ученый и даже энциклопедический облик, последовательно и рационально выстраивать аргументацию, не касающуюся сферы эмо-

20 Management of emotions, «управление эмоциями» — термин, широко распространенный в современных англоязычных исследованиях социальной психологии и истории эмоций.

ционального. Но как только речь будет заходить о политической эмоции, повествование неизбежно будет меняться, редуцируясь до нарочито суггестивных, нерасчлененных конструкций. Именно такие конструкции и ложатся в основу официальных политических нарративов.

Сегодня при перечтении статей о пожаре Зимнего дворца бросается в глаза странная смысловая неадекватность метафорически насыщенных фрагментов. Создается впечатление, что авторы как будто блокируют решение тех идеологических задач, которые сами себе и поставили. Эта семантическая противоречивость выглядит особенно неожиданно в текстах бывших «арзамасцев», способность которых создавать культурно насыщенные и в то же время действенные метафорические образы, казалось бы, не должна вызывать сомнений. Выше уже говорилось о противоречиях в тексте Башуцкого, который «не замечает» то реконструкции дворца, то самого факта пожара. Вяземский вначале сравнивает горящий дворец с Везувием и тем самым так или иначе вызывает у читателя воспоминание о гибели так никогда и не возродившейся римской Помпеи, а затем, словно бы забыв об этих катастрофических коннотациях, уверяет, что пепел дворца облагородит российские почвы:

Вообразите себе величавую громаду: подобно Везувия в пламени, она откидывала яркие полосы печального блеска на тьму ночи <...> не одна хижина, не одна деревня выстроится на деньги, которых будет стоить Дворец. Пепел его, как пепел Везувия, утучнит поля наших земледельцев... (Вяземский 1838).

Еще более парадоксально ведет себя Уваров. Он завершает свою работу величественным, но удивительно неуместным в данном случае образом остова сгоревшего дворца — руины, которой не суждено возродиться. Из контекста понятно, что на самом деле Уваров говорит об участии Франции («образ государств, которые поддались влиянию разрушительных идей и революционных страстей...») после 1830 года, но метафорой глубинного кризиса этой страны у него становится... главный русский дворец!

Я не могу рассматривать без живого чувства, без неожиданного обращения к делам житейским этот памятник, разоренный пламенем и дымом, наружные стены которого все еще стоят, еще держат на себе полуискалеченные статуи, в то время как птицы едва могли бы найти себе убежище под его сводами. Огромный труп, душа которого взлетела, — это поразительный образ того, что происходит с любой монархией, когда религиозные и национальные принципы, которые ее одухотворяют, от нее отделяются. Колосс не падает внезапно на землю, его внешняя форма может еще сохранять некоторое время привычный вид; но с течением времени черты запустения и непрочности становятся все более различимыми, и когда путешественник подходит к подножию здания, он не находит за потрескавшимися стенами ничего, кроме груды камней и пепла, оставленной на волю стихий, которая может рассыпаться в прах от малейшего дуновения ветра, — образ государств, которые поддались влиянию разрушительных идей и революционных страстей, в сотни раз более беспощадных, чем огонь, в сотни раз более глухих и слепых, чем буря (Уваров 1837).

По-видимому, эти серьезные семантические смещения являются прямым следствием примененной в текстах бывших «арзамасцев» стратегии «подвешивания» и канализации эмоций, связывающих субъекта с властью, — вме-

Чему способствовал пожар?

сто рефлексии и дифференциации, от которых русские авторы сознательно отказываются. Метафоры спутаны, так как отказ от рефлексии эмоций, связанных с пожаром, привел к невозможности организовать эти метафоры в расчлененную, развернутую, иерархически соподчиненную структуру.

Интересно также и то, что элегическая риторика и элегические эмоции, возникающие в сочинениях о пожаре вследствие восприятия его как символического разрыва в истории, а Зимнего дворца — как «места памяти», стали, вероятно, едва ли не основной причиной высочайших запретов на публикацию статей Жуковского и Уварова. Для созданного ими вместе с Вяземским «нарратива о пожаре» характерно переплетение элегических эмоций и эмоций сопричастности, однако первые в силу самого события «разрыва» предполагают большую степень рефлексивности и дифференциации, чем вторые. Метафорика сопричастности, созданная Вяземским, Уваровым и Жуковским, по-видимому, была именно тем, чего ждали от литераторов император и его окружение, однако связывать элегические эмоции со своей резиденцией и своим царствованием Николай не желал категорически. Как это часто случается, идеологи и публицисты, стремящиеся поддержать падающий авторитет власти, оказываются тем не менее в невольной оппозиции к этой власти, а их труды так и остаются невостребованными.

ЛИТЕРАТУРА

- Андерсон 2001 — *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева, вступ. ст. С. Баньковской. М.: Кучково поле, Канон-Пресс-Ц, 2001.
- Башуцкий 1839 — *Башуцкий А.* Пожар Зимнего дворца в Петербурге // Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений. 1839. Т. 20. № 77–80; № 78. С. 180–217. Возобновление Зимнего дворца: Там же. № 79. С. 291–334; № 80. С. 387–425.
- Бёрк 1979 — *Бёрк Э.* Философское исследование о происхождении наших чувств возвышенного и прекрасного... / Пер. с англ. М.: Искусство, 1979.
- Вяземский 1838 — *Вяземский П.А.* Пожар Зимнего дворца // Московские ведомости. 1838. 20 апреля. № 32. С. 257–258.
- Глинка 1959 — *Глинка В.М.* Новые данные о пожаре Зимнего дворца 1837 года // Труды Гос. Эрмитажа. Т. 3. Л., 1959. С. 217–235.
- Гронас 2001 — *Гронас М.* Безмянное узнаваемое, или Канон под микроскопом // НЛО. 2001. № 51.
- Гузайров 2007 — *Гузайров Тимур.* Жуковский — историк и идеолог николаевского царствования. Дис. ... д-ра философии. Тарту, 2007 (http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/2910/7/timur_guzairov_2.pdf).
- Дело Комиссии 1837 — ГАРФ. Ф. 109. 4-я экспедиция. Оп. 177 (1837). Ед. хр. 169 (Дело Комиссии, Высочайше учрежденной для исследования причин произошедшего в Зимнем дворце пожара).
- Дело о толках 1838 — ГАРФ. Ф. 109. 4-я экспедиция. Оп. 178. Ед. хр. 57 (Дело о толках и слухах в г. Москве о пожаре Зимнего дворца).
- Живов 2008 — *Живов В.М.* Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // НЛО. 2008. № 91.
- Жуковский 1885 — *Жуковский В.А.* Пожар Зимнего дворца // Жуковский В.А. Собр. соч. Т. 6. СПб., 1885.

- Жуковский 1999 — *Жуковский В.А.* Полн. собр. соч. и писем.: В 20 т. / Под ред. А. Янушкевича и др. Т. 1: Стихотворения 1797—1814 годов. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Жуковский 2000 — *Жуковский В.А.* Полн. собр. соч. и писем.: В 20 т. / Под ред. А. Янушкевича и др. Т. 2: Стихотворения 1816—1852 годов. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Карамзин 1964 — *Карамзин Н.М.* Избр. соч.: В 2 т. / Вступ. ст. П. Беркова и Г. Макогоненко. М.; Л., 1964.
- Карамзин 1988 — *Карамзин Н.М.* История государства Российского (Репринтное воспроизведение издания П.М. Строева). Кн. 1: Т. I—IV; Кн. 2: Т. V—IX. М., 1988.
- Киселева 1998 — *Киселева Л.Н.* Карамзинисты — творцы официальной идеологии (заметки о российском гимне) // Тыняновский сборник. Вып. 10. М., 1998. С. 24—39.
- Кларк 2009 — *Кларк К.* Имперское возвышенное в советской культуре второй половины 1930-х годов / Пер. с англ. Н. Мовниной // НЛО. 2009. № 95.
- Колокольцев 1883 — Пожар Зимнего дворца 17, 18 и 19 декабря 1837 г. Из записок старого Л.-Г. Преображенского полка офицера. Записки ген.-майора Д.Г. Колокольцова // Русская старина. 1883. № 11. С. 329—355.
- Кузовкина 2002 — *Кузовкина Т.* «Люди горели в удивительном порядке»: К описанию официального языка Николаевской эпохи // Toronto Slavic Quarterly. 2002. № 18 (<http://www.utoronto.ca/tsq/18/kuzovkina18.shtml>).
- Лаку-Лабарт 2009 — *Лаку-Лабарт Ф.* Проблематика возвышенного / Пер. с фр. А. Магуна // НЛО. 2009. № 95.
- Майофис 2008 — *Майофис М.Л.* Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815—1818 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
- Мильчина 2004 — *Мильчина В.А.* «Русский мираж» французских легитимистов // Мильчина В.А. Россия и Франция: дипломаты, литераторы, шпионы. СПб.: Гиперион, 2004. С. 344—389.
- Мильчина, Осоват 1996 — [Мильчина В.А., Осоват А.Л.] Комментар. к изд.: Кюстин А. де. Россия в 1839 году / Пер. с фр. В. Мильчиной, И. Стаф, С. Зенкина и др. Т. 1, 2. М.: Издательство имени Сабашниковых, 1996.
- Минин 1995 — *Минин А.С.* Пожар Зимнего дворца 17 декабря 1837 года в воспоминаниях современников // Петербургские чтения-95. СПб., 1995. С. 128—130.
- Никитенко 1955 — *Никитенко А.В.* Дневник. Т. 1—3. Л., 1955.
- Нора 1999 — *Нора Пьер, Озуф Мона, де Пуимеж Жерар, Винок Мишель и др.* Франция-Память / Пер. с фр. Д. Хапаевой. СПб., 1999 [Фрагменты многолетнего исследования: Les lieux de mémoire / Sous la direction de Pierre Nora. Paris: Gallimard, 1984—1993].
- Осоват, Тименчик 1985 — *Осоват А., Тименчик Р.* «Печальную повесть сохранить...»: Об авторе и читателях «Медного всадника». М.: Книга, 1985.
- Пилявский 1974а — *Пилявский В.И.* Восстановление Зимнего дворца после пожара 1837 года // Эрмитаж: История и архитектура зданий. Л., 1974. С. 119—135.
- Пилявский 1974б — *Пилявский В.И.* Восстановление интерьеров // Там же. С. 136—171.
- Россия под надзором 2006 — Россия под надзором: Отчеты III Отделения. 1827—1869 / Сост. М.В. Сидорова, Е.И. Щербакова. М.: Российский фонд культуры; ГАРФ; Российский архив; студия «Тритэ», 2006.
- Салтыков-Щедрин 1969 — *Салтыков-Щедрин М.Е.* История одного города // Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 8. М.: Худож. лит., 1969.

 Чему способствовал пожар?

- СП 1837 — Северная пчела. 1837.
- СП 1838 — Северная пчела. 1838.
- СПВ 1838 — Санкт-Петербургские ведомости. 1838.
- Уваров 1818 — Речь Президента Императорской Академии Наук, Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта, 1818 года. СПб., 1818.
- Уваров 1837 — *Уваров С.С.* Письмо к иностранному журналисту [Описание пожара в Зимнем дворце] (декабрь 1837 г.). Оригинал — по-французски. Писарская копия // ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 116—120 об.
- Уортман 2004 — *Уортман Р.С.* Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. / Пер. с англ. С.В. Житомирской. М.: ОГИ, 2004.
- Clark 1989 — Clark Margaret. Historical Emotionology From a Social Psychologist's Perspective // *Social History and Issues in Human Consciousness: Some Interdisciplinary Connections* / Ed. by Andrew E. Barnes and Peter N. Stearns. New York: New York University Press, 1989. P. 262—269.
- Leary 2007 — *Leary M.R.* How the Self Became Involved in Affective Experience: Three Sources of Self-Reflected Emotions // *The Self-Conscious Emotions: Theory and Research* / Ed. by Jessica L. Tracy, Richard W. Robins and June Price Tunney. N.Y.: Guilford Publications, 2007.
- GdF — Gazette de France. 1838.
- MCh 1834 — The Morning Chronicle. 1834.
- MTG 1834 — The Manchester Times and Gazette. 1834.
- Ram 2003 — *Ram H.* The Imperial Sublime: A Russian Poetics of Empire. Madison: The University of Wisconsin Press, 2003.
- Reddy 2001 — *Reddy William M.* The Navigation of a Feeling: A Framework for the History of Emotions. Cambridge University Press, 2001.
- Stearns, Lewis 1998 — *An Emotional history of the United States* / Ed. by N. Stearns, J. Lewis. N.Y.; London: New York University Press, 1998.